

ТЕОФИЛЬ

ГОТЬЕ

Капитан Фракасс



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Теофиль Готье

Капитан Фракасс

«ФТМ»

«АСТ»

1863

Готье Т.

Капитан Фракасс / Т. Готье — «ФТМ», «АСТ», 1863

ISBN 978-5-17-074770-2

Не раз экранизированная (в том числе и в нашей стране) жемчужина творчества Теофиля Готье, которую большинство литературоведов ставят даже выше его великолепных новелл. На первый взгляд перед нами – элегантная стилизация под классический историко-приключенческий роман. Яркие герои, увлекательный сюжет... На первых страницах читатель вполне смог бы спутать «Капитана Фракасса» с работами Александра Дюма. Однако чем дальше, тем яснее становится, что и острая интрига романа, и его демонстративная стилизованность – лишь причудливая и изысканная рамка для сильного, беспощадно исповедального повествования о роли интеллектуала в искусстве...

ISBN 978-5-17-074770-2

© Готье Т., 1863

© ФТМ, 1863

© АСТ, 1863

Содержание

I	6
II	16
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Теофиль Готье

Капитан Фракасс

© Перевод. Н.Г. Касаткина, наследники, 2011

© Перевод стихов. М.Н. Ваксмахер, наследники, 2011

© ООО «Издательство Астрель», 2011

I

Обитель горести

На склоне одного из безлесных холмов, горбами вздымающих ланды между Даксом и Мон-де-Марсаном, расположена была в царствование Людовика XIII дворянская усадьба – из тех, что так часто встречаются в Гасконии и среди крестьян высокопарно именуются замками.

Две круглые башни, увенчанные остроконечными крышами, с обоих концов замыкали здание, а два глубоких желоба на его фасаде говорили о том, что первоначально здесь был подъемный мост, ныне ставший бесполезным, ибо время упразднило ров; тем не менее сторожевые вышки на башнях и флюгера в виде ласточкина хвоста придавали строению чуть что не феодальный вид. Ковер из плюща наполовину окутывал одну из башен и темной зеленью своей оттенял камень, успевший к этому времени посереть от старости.

Издали увидев замок, поднимавший в небо над зарослями дрока и вереска свои островерхие кровли, путник счел бы его вполне пристойным жилищем для дворянина средней руки, но, приблизясь, изменил бы мнение. Мох и сорные травы завладели аллеей, ведущей от большой дороги к дому, оставив лишь узкую серую полосу, подобную потускневшему галуну на потертом плаще. Две колеи, наполненные дождевой водой и населенные лягушками, свидетельствовали о том, что некогда здесь проезжали экипажи. Однако невозмутимость лягушачьего племени показывала, что оно издавна, не зная помех, обосновалось тут. На тропинке, проложенной среди густой травы и размытой недавними ливнями, не виднелось следа человеческих ног, и ничья рука, очевидно, давно уже не раздвигала веток частого кустарника, унизанных блестящими капельками.

Почерневшие, изъеденные широкими желтыми подтеками черепицы расползлись в разные стороны, а стропила местами совсем прогнили; заржавленные флюгера перестали вращаться и все показывали разное направление ветра; слуховые окошки были закрыты покореженными и растрескавшимися ставнями, амбразуры башен засорены щебнем; из двенадцати фасадных окон восемь были заколочены досками, а вспученные стекла остальных дребезжали в своих свинцовых переплетах при малейшем натиске ветра. В промежутках между окнами штукатурка облупилась и сыпалась, как чешуйки с пораженной болезнью кожи, обнажив разошедшиеся кирпичи, которые крошились под вредоносным воздействием луны; входная дверь была обрамлена каменным наличником с правильными выпуклостями – следами бывшего орнамента, выветрившегося от времени и непогоды, а венчал ее полустертый герб, который не под силу было бы разобрать опытнейшему знатоку геральдики; завитки над шлемом изгибались самым причудливым образом, то и дело обрываясь. Дверные створки еще сохранили поверху красноватый колер, словно краснели за свой неприглядный вид; гвозди с остроконечными шляпками, набитые в строгой симметрии, нарушенной временем, скрепляли их разошедшиеся доски. Открывалась лишь одна створка, что было вполне достаточно для приема явно немногочисленных посетителей, а у дверного косяка догнивало полуразломанное колесо – жалкий остаток кареты, окончившей свой век в прошлое царствование. Верхушки труб и углы карнизов были облеплены ласточкиными гнездами, и если бы над одной из этих труб не завивалась штопором тонкая струйка дыма, точь-в-точь как над домиками, какие школьники рисуют на полях своих тетрадей, всякий счел бы жилище необитаемым; и, верно, очень скудную трапезу изготовляли на этом очаге, – из солдатской трубки дым валил бы куда гуще. Этот дымок был единственным признаком жизни в замке, как одно лишь легкое облачко пара из уст умирающего свидетельствует о том, что он еще жив.

Не без ропота и явного неудовольствия повертываясь на ржавых и визгливых петлях, дверь давала доступ в самую старую часть замка – портал со стрельчатым сводом, разделенным

четырьмя нервюрами голубоватого гранита и ключевым камнем в точке их пересечения, где повторялся сохранившийся лучше, чем на входных дверях, герб с тремя золотыми аистами на лазоревом поле или чем-то в этом духе, – полумрак, царивший под сводом, мешал точно разглядеть их. В стену портала были вделаны кованые гасильники, закопченные пламенем факелов, а также железные кольца, к которым некогда привязывались лошади гостей, что, судя по слою пыли на кольцах, случалось теперь крайне редко.

Из портала одна дверь вела в покои нижнего этажа, другая – в помещение, возможно, бывшее когда-то оружейной залой, и далее во двор – унылый, пустой и холодный, обнесенный высокими стенами, на которых зимние дожди оставили длинные черные полосы. По углам двора, среди щебня, упавшего с карнизов, пробивалась крапива, овсюг, цикута, и трава зеленой рамкой окаймляла плиты.

В глубине, за каменной балюстрадой, которую украшали увенчанные шпильми шары, террасой спускался сад. Поломанные ступени шатались под ногами в тех местах, где не были скреплены волокнами мха и выющихся растений; подпоры террасы обросли трилистником, желтыми левкоями и дикими артишоками.

Самый сад мало-помалу вновь превратился в первобытную чашу. Кроме одной грядки, где виднелись кочны капусты с ярко-зелеными в прожилках листьями и красовались звезды подсолнечников с черными сердцевинками, свидетельствуя о некотором уходе, надо всем остальным заброшенным пространством брала верх природа и, казалось, с особым удовольствием стирала следы человеческого труда.

Давно не подстригавшиеся деревья во все стороны раскидывали буйные ветви. Буксовые бордюры вдоль аллей и газонов, давно не ведаая ножниц, превратились в заросли высокого кустарника. Случайно занесенные ветром семена, по обычаю сорных трав, дали мощные всходы, вытеснив садовые цветы и редкие растения. Покрытые колючками ветки терновника переплетались посреди дорожек, вцепляясь в проходящего и не пуская его дальше, чтобы он не мог проникнуть в этот заповедник скорби и запустения. Тишина не любит быть застигнутой врасплох и сеет вокруг себя всяческие преграды.

Но кто не побоялся бы, что его будут царапать колючки кустов и бить по лицу ветви деревьев, и дошел до конца заглухшей старинной аллеи, заросшей не хуже лесной тропы, тот очутился бы перед нишей, выложенной ракушками наподобие естественного грота. К посеянному первоначально между камнями растениям – ирисам, шпажникам, черному плющу прибавились другие – спорыш, стоног, дикий виноград, – они свисали пасмами, наполовину закрывая мраморную статую, изображавшую мифологическую богиню, не то Флору, не то Помону, которая в свое время была, надо полагать, весьма изящна и делала честь своему создателю, ныне же, став курносой, уподобилась смерти. Незадачливая богиня держала корзинку, но не с цветами, а с плесневелыми, на вид ядовитыми грибами; казалось, и сама она отравлена, – ее тело, некогда столь белое, пестрело пятнами бурого мха. У ее ног в каменной раковине под зеленой ряской загнивала темная лужица – остаток дождей, ибо из львиной пасти, которую можно было разглядеть с грехом пополам, давно уже не извергалась вода, не поступавшая из засоренных или уничтоженных временем труб.

Этот, по тогдашнему наименованию, сельский приют, как ни был он разрушен, свидетельствовал о бывшем благосостоянии и о тяге к искусству прежних владельцев замка. Если бы статую богини отчистить и подправить как следует, в ней обнаружился бы стиль флорентийского Ренессанса в духе тех итальянских скульпторов, которые приехали во Францию вслед за художником Россо или за Приматиччо в эпоху, по-видимому, совпадающую с процветанием захиревшего ныне рода.

Грот примыкал к замшелой и просыревшей стене, на которой переплетались еще обрывки трельяжа, должно быть, когда-то густо увитого ползучими растениями и скрывавшего каменную кладку. Еле заметная теперь за раскидистыми ветвями непомерно разросшихся

деревьев, старая стена замыкала сад с этой стороны. Дальше до самого края низкого и сумрачного горизонта тянулись ланды с курчавыми кустиками вереска.

Когда вы поворачивали вспять, перед глазами вставал дворовый фасад замка, еще более жалкий и обветшалый, чем описанный ранее, так как последние владельцы употребляли свои скудные средства на то, чтобы хоть мало-мальски поддержать внешнее благообразие.

На конюшне, достаточно просторной для двадцати лошадей, стояла одна тощая кляча с выпирающими под кожей мослаками; обнажив длинные желтые зубы, она выбирала в пустой кормушке считанные соломинки и время от времени бросала на дверь косые взгляды из глазниц, в которых монфоконские крысы не выискали бы ни крупички сала. На пороге псарни единственный пес, чье дряблое тело болталось в непомерно широкой шкуре, дремал, уткнувшись носом в лапы, служившие ему отнюдь не пуховой подушкой; казалось, он настолько привык к безлюдью, что не настораживался от шума, как это свойственно собакам даже во сне.

В верхние этажи замка вела огромная лестница с точеными деревянными перилами и двумя площадками – по одной на каждом из этажей. До второго лестница была каменной, а дальше кирпичной и деревянной. По стенам вдоль нее, сквозь пятна плесени, видна была декоративная живопись в серых тонах, изображавшая пышные архитектурные рельефы со светотенью и перспективой. Здесь смутно можно было различить также ряд Атлантов, поддерживавших карниз на консолях, откуда ниспадал орнамент из виноградных листьев и лоз в виде арки, за которой проглядывало выцветшее небо, а на нем – неведомые острова, нанесенные подтеками от дождей. Между Атлантами в нарисованных нишах красовались бюсты римских императоров и других исторических личностей, но все это было до того смутно, блекло, истерто, испорчено, что представлялось не настоящей, а призрачной живописью, о которой нужно рассказывать тенями слов взамен обычной человеческой речи, слишком плотской для нее. Казалось, эхо этой пустынной лестницы с удивлением отзывается на шум шагов.

Дверь, обитая линялой зеленой материей, висевшей ключьями на гвоздях с облезлой позолотой, открывалась в залу, которая, по-видимому, служила столовой в те легендарные времена, когда в этом безлюдном доме еще вкушали пищу. Потолок был перерезан пополам толстой балкой, от которой в обе стороны полосами отходили фальшивые брусья, а промежутки когда-то были окрашены в голубой цвет, ныне затянутый слоем пыли и паутины, добраться же щеткой на такую высоту явно никто не пытался. Над старинным камином оленья голова раскинула свои ветвистые рога, а по стенам с закопченных полотен смотрели воины в кирасах, – шлем был рядом, на столе, или в руках у пажа, – со жгуче-черными живыми глазами на мертвых лицах, вельможи в мантиях с круглым крахмальным воротником, на котором голова покоилась, как покоятся отсеченные главы Иоанна Крестителя на серебряных блюдах; почтенные матроны в старомодных нарядах пугали своей мертвенной бледностью; из-за пожухлых красок они превратились в ламий, вампиров и оборотней. Грубая мазня провинциальных живописцев придавала этим портретам особенно жуткий и зловещий вид. Некоторые были без рам, другие окаймлены потускневшим и порыжевшим золотым багетом. В углу каждого портрета имелся фамильный герб и был обозначен возраст оригинала; но, независимо от эпохи, особой разницы между ними не замечалось; на всех полотнах, потемневших от лака и покрытых слоем пыли, свет был желтый, а тени черные, как уголь; два-три портрета от плесени и цвели приобрели окраску разлагающихся трупов, наглядно доказывая полное равнодушие к изображению своих славных предков со стороны последнего отпрыска этого знатного и доблестного рода. Вечером при зыбком свете ламп немые и неподвижные образы, должно быть, превращались в страшные и смешные привидения.

Ничего нет печальнее, чем забытые портреты в пустынных покоях, полустертые воспроизведения тех форм, что давно распались под землей.

Но в таком виде эти рисованные призраки вполне подходили к печальному безлюдью замка. Обитатели из плоти и крови показались бы чересчур живыми для этого мертвого дома.

Середину залы занимал стол почерневшего грушевого дерева, с витыми ножками, наподобие колонн Соломонова храма, в которых древоточцы пробуравили множество отверстий, не встречая помех в своих скрытных трудах. Серый налет, на котором можно было чертить вензеля, покрывал доску стола, из чего явствовало, что обедают за ним не часто.

Два поставца или буфета того же дерева с резьбой, приобретенные, по всей вероятности, вместе со столом во времена процветания, стояли на противоположных концах залы; фарфоровые щербатые вазы, разрозненные бокалы, несколько керамических фигурок работы Бернара Палисси, изображающих змей, рыб, крабов и раковины, покрытые глазурью по зеленому полю, служили убогим украшением пустых полок.

Бархатная обивка пяти-шести стульев, в прошлом, возможно, пунцовая, от времени и употребления стала рыжей, из дыр ее торчал волос, а сами стулья хромали на непарных ногах, как разностопные стихи или покалеченные вояки, бредущие восвояси после сражения. Пожалуй, только бесплотный дух мог без большого риска усестся на такой стул, да и употреблялись они, должно быть, лишь в тех случаях, когда предки, выходя из облупленных рам, рассаживались вокруг пустого стола и за воображаемым ужином в долгие зимние ночи, столь благоприятные для дружеской встречи привидений, вели беседы об упадке своего славного рода.

Из этой залы был ход в другую, несколько меньшую. Здесь стены были украшены фландрскими шпалерами. Но не надо при этом представлять себе несообразное с окружающим роскошество, – шпалеры были протертые, изношенные, выцветшие, и полотнища расплзались по всем швам, держась на стенах только считанными нитями и силой привычки. Слиявшие деревья были желтыми с одной стороны и синими с другой. Цапля, стоящая на одной ноге посреди тростника, порядком пострадала от моли. Фламандскую ферму с колодцем, увитым хмелем, почти уже нельзя было различить, а на мучнистой физиономии охотника за чирками только красные губы и черные глаза, очевидно, более стойкой окраски, сохранили первоначальную яркость, точно нарумяненные губы и наведенные брови на восковом лице покойника. Ветер ходил между стеной и отставшими шпалерами, отчего они весьма подозрительно колыхались. Если бы Гамлет, принц Датский, был занят беседой в этой комнате, он выхватил бы шпагу и с криком: «Крыса!» – пронзил бы Полония сквозь ткань шпалер.

Бессчетные шорохи, еле уловимый шепот тишины, делая безлюдие еще ощутимее, смущали слух и душу посетителя, достаточно отважного, чтобы сюда проникнуть. Мыши с голоду выгрызали шерстяную основу ткани. Древоточцы под сурдинку пилили балки потолка, точно часы смерти отстукивая время о доски панелей.

Всякий невольно вздрогнул бы, когда внезапно раздавался треск мебели, как будто тишина, наскучив неподвижностью, расправляла суставы. Один из углов комнаты занимала кровать с колонками и парчовыми занавесками, которые из белых с зелеными разводами стали грязно-желтыми и посеклись на сгибах; их боязно было раздвинуть, чтобы, чего доброго, не увидеть притаившееся в темноте страшилище или застывшую под простыней фигуру с очертаниями заостренного носа, костлявых скул, сложенных рук и вытянутых ног, как у статуй на крышках гробниц, – настолько призрачным становится сразу все, что сделано для человека и где нет самого человека. Можно бы также представить себе, что тут, наподобие спящей красавицы, спит вечным сном заколдованная принцесса, но зловещая таинственность неподвижных складок исключала фривольные мысли.

Стол черного дерева, где отстали медные инкрустации, косое и мутное зеркало, откуда, истосковавшись по отражению человеческого лица, сошло олово, кресло с вышивкой крестом, плод терпения и досуга какой-нибудь прабабки, где теперь среди выцветшей шерсти и шелка блестели лишь отдельные серебряные нити, – вот что составляло убранство этой комнаты, на худой конец пригодной в качестве жилья для человека, который не боится ни духов, ни привидений.

Слабый зеленоватый свет проникал в эти две комнаты через два незаколоченных фасадных окна, тусклые стекла которых, не мытые уже лет сто, казались посеребренными снаружи. Свисавшие с ржавых прутьев и протертые на сгибах драпировки, которые порвались бы в клочья при попытке их задернуть, еще скрадывали этот сумеречный свет и углубляли уныние, царившее тут.

Дверь в глубине второй комнаты открывалась во мрак, в пустоту, в неизвестность. Однако мало-помалу глаз привыкал к этой тьме, прорезанной белесыми бликами из щелей между досками на окнах, и смутно различал целую анфиладу пришедших в запустенье комнат с выкрошившимся паркетом, с осколками стекла на полу, с голыми стенами, кое-где покрытыми лоскутьями обтрепанных шпалер, с обнажившейся дранкой на потолках, пропускающих дождевую воду, – словом, великолепное помещение для синедриона крыс и конгресса летучих мышей. Кое-где даже небезопасно было ступать, так как пол качался и гнулся под ногами, но никто не отваживался проникнуть в эту юдоль тьмы, пыли и паутины. С самого порога в нос бил затхлый запах плесени и запустения, пронизывающая сырость, как в склепе над ледяным мраком могилы, с которой сдвинут надгробный камень. И правда, в этих залах, куда не заглядывало настоящее, медленно обращался в прах остов прошлого, и почившие годы дремали по углам в колыбелях из паутины.

На чердаках в течение дня гнездились совы, филины и сипухи с перьями на ушах, с колючими головами и круглыми светящимися зрачками. Крыша, продырявленная в двадцати местах, давала свободный доступ этим приятным птичкам, и они чувствовали себя здесь не менее вольготно, чем в развалинах Монлери и замка Гаяр. Каждый вечер их запыленная стая с пронзительными криками, которые привели бы в содрогание человека суеверного, улетала вдаль на поиски пищи, ибо в этой цитадели голода нельзя было раздобыть ни крошки съестного.

В комнатах нижнего этажа не было ничего, кроме нескольких охапок соломы, маисовой ботвы и кое-какого садового инструмента. В одной из них лежал тюфяк, набитый сухими кукурузными листьями, и серое шерстяное одеяло, – это, очевидно, была постель единственного в замке слуги.

Полагая, что читателю наскучила прогулка среди тишины, убожества и запустения, приведем его в то место пустынного дома, которое еще подавало признаки жизни, а именно в кухню, – над ней-то и подымалось из трубы легкое белое облачко, упомянутое при описании наружного вида здания.

Чахлый огонь желтыми языками лизал доску очага, время от времени достигая чугунного котелка, нацепленного на крюк, а слабый отблеск этого огня зажигал красноватые искорки на боках двух-трех кастрюль, висевших на стене.

Дневной свет, проникая с крыши через широкую, без колен, трубу, голубоватыми бликами застывал на тлеющих углях, отчего и самый огонь казался бледнее, словно коченел в этом холодном очаге. Не будь котелок накрыт, дождь капал бы прямо в него, разбавляя мясной навар.

Постепенно нагреваясь, вода наконец забурлила, и котелок стал хрипеть среди глухой тишины, как человек, страдающий одышкой: капустные листья, поднимаясь на поверхность вместе с пеной, явно показывали, что возделанный участок огорода внес свою лепту в эту более чем спартанскую похлебку.

Старый черный кот, тощий, облезлый, как выношенная муфта, с сизыми плешинами, постарался сесть возможно ближе к очагу, лишь бы только не спалить усов, и с видом заинтересованного наблюдателя вперил в котелок круглые зеленые глаза, пересеченные столбиком зрачка; уши и хвост были у него отрезаны до основания, отчего он напоминал то ли японских химер, которых ставят в витрины вместе с другими редкостями, то ли фантастических чудо-

вищ, которым ведьмы, отправляясь на шабаш, поручают снимать накипь с волшебного варева в чугуне.

Этот кот, сидевший в одиночестве на кухне, казалось, варил похлебку сам для себя, и он же, конечно, поставил на дубовый стол тарелку в зеленых и красных цветах, оловянный кубок, весь исцарапанный, конечно, его же когтями, и фаянсовый кувшин с грубо намалеванным сбоку голубым гербом, тем же, что на портале, на выступе свода и на фамильных портретах.

Для кого был поставлен этот скромный прибор в этом замке без обитателей? Быть может, для домашнего духа, для *genius loci*, для кобольда, верного избранному жилищу, и черный кот с непроницаемо загадочным взглядом ждал его, чтобы прислуживать ему, перекинув через лапу салфетку.

Котелок продолжал кипеть, а кот сидел все так же неподвижно на своем посту, точно часовой, которого забыли сменить. Наконец раздались шаги, тяжелые и грузные шаги пожилого человека; послышалось покашливание, звякнула щеколда, и в кухню вошел старик, с виду не то крестьянин, не то слуга.

При появлении старика черный кот, очевидно, давний его приятель, покинул свое место у очага и стал по-дружески тереться о его ноги, выгибая спину, выпуская и пряча когти и издавая то хриплое урчание, которое у кошачьей породы служит знаком наивысшего удовлетворения.

– Ладно, ладно, Вельзевул, – сказал старик и нагнулся, чтобы отдать коту долг вежливости, погладив шершавой рукой его облезлую спину, – я знаю, ты меня любишь, и мы с моим бедным господином слишком здесь одиноки, чтобы не ценить ласки животного, хоть и лишеного души, но как будто все понимающего.

Покончив со взаимными любезностями, кот засеменил впереди старика, направляя его шаги к очагу, как бы для того, чтобы передоверить ему присмотр за котелком, на который он взирал с умильнейшим вожелением, ибо Вельзевул заметно старел, стал туг на ухо и утратил прежнюю зоркость глаз и сноровку в лапах, чем день ото дня сокращались те возможности, которые давала ему охота на птиц и на мышей; потому-то он не сводил взгляда с похлебки, надеясь получить свою долю и заранее облизываясь.

Пьер – так звали старого слугу – подбросил хворосту в еле тлеющий огонь, ветки, извиваясь, затрещали, и вскоре яркое пламя взвилось вверх под веселую перестрелку искр. Казалось, это резвятся саламандры, отплясывая сарабанду в языках пламени. Жалкий чахоточный сверчок, обрадовавшись теплу и свету, попытался было отбивать такт в свои литавры, но издал лишь какой-то сиплый звук.

Пьер сел на деревянную скамейку под колпаком очага, обитым по краю старым зеленым штофным ламбрекеном с фестонами, бурый от дыма; кот Вельзевул пристроился рядом.

Отблеск пламени освещал лицо старика, которое, если можно так выразиться, было выдублено временем, солнцем, ветром и непогодой и стало темней, чем у индейцев-караибов; пряди седых волос, выбившихся из-под синего берета и прилипших к вискам, только подчеркивали смуглый, почти кирпичный цвет кожи, а черные брови являли резкий контраст с белой как лунь головой. У него был характерный для басков удлинённый овал лица и нос, похожий на клюв хищной птицы. Глубокие морщины, точно сабельные рубцы, сверху донизу бороздили его щеки. Обшитое тусклым галуном подобие ливреи такого цвета, который был бы голололомкой для самого опытного живописца, наполовину прикрывало песочную замшевую куртку, местами залоснившуюся и почерневшую в свое время от трения кирасы, что придавало ей сходство с пятнистым брюшком куропатки; Пьер некогда был солдатом, и остатки военного обмундирования составляли часть его штатского платья.

В его полудлинных штанах проглядывали и уток и основа, ткань их до того истончилась, что стала похожа на канву для вышивания, и невозможно было определить, сшиты они из сукна, из саржи или шерсти с начесом. Всякий ворс давно сошел с их плешивой поверхности,

ни один евнух не мог бы похвалиться таким гладким подбородком. Весьма приметные заплаты, сделанные рукой, более привычной к шпаге, чем к иголке, укрепляли самые ненадежные места, показывая заботу обладателя штанов об их предельном долголетии. Подобно Нестору, эти престарелые панталоны прожили три человеческих века. Есть веские основания предполагать, что они были малиновыми, но эта важная подробность ничем не обоснована.

Веревочные подошвы, привязанные синими шнурками к шерстяным чулкам без ступни, служили Пьеру обувью по образцу испанских альпаргат. Предпочтение этим грубым котурнам перед башмаками с помпонами или высокими сапогами, несомненно, было отдано только ввиду их дешевизны, ибо во всех мельчайших подробностях одежды старика и даже в позе его, исполненной угрюмой покорности, чувствовалась бедность, стойкая, суровая и опрятная.

Прислонясь к боковой стенке очага и сложив на коленях большие руки того фиолетового оттенка, какой бывает у виноградных листьев в позднюю осеннюю пору, он неподвижно сидел напротив Вельзевула. А кот с жалким голодным видом примостился на остывшей золе, сосредоточив весь свой интерес на хриплом клекотании котелка.

– Что-то запаздывает нынче наш молодой хозяин, – пробормотал Пьер, вглядываясь сквозь закопченные желтоватые стекла единственного кухонного окна в даль, где на краю неба под грядями тяжелых дождевых туч угасала последняя полоска заката. – Что за охота бродить одному по ландам? Впрочем, по правде сказать, вряд ли где может быть тоскливее, чем здесь, в замке.

Радостный сиплый лай послышался со двора; лошадь на конюшне стала бить копытом и лязгать о край кормушки цепью, за которую была привязана; черный кот, совершавший свой туалет, проводя смоченной слюной лапкой по бакенбардам и остаткам ушей, прервал это занятие и направился к двери, как положено приветливому и воспитанному животному, сознающему свой долг.

Дверь распахнулась; Пьер поднялся, почтительно снял берет, и вновь прибывший показался на пороге в сопровождении пса, о котором уже была речь, – пес этот пытался прыгать, но грузно оседал, отяжелев от старости. Вельзевул не проявил к Мирю той неприязни, какую коты обычно питают к собачьему племени, даже наоборот, поглядывал на него очень дружелюбно, поводя круглыми зелеными глазами и выгибая спину. Видно было, что они знакомы не первый день и часто коротают вместе время в здешнем уединении.

Вошедший был барон де Сигоньяк, владелец этого полуразрушенного поместья, молодой человек лет двадцати пяти, хотя на первый взгляд он казался старше, настолько строгий и сосредоточенный был у него вид. Сознание бессилия, сопутствующее бедности, согнало улыбку с его лица и стерло со щек бархатистый пушок юности. Вокруг померкших глаз уже залегли тени, и над впалыми щеками явственно выступали скулы; усы не закручивались лихо кверху, а свисали вниз, словно плача над скорбной складкой губ. Небрежно расчесанные волосы спускались вдоль бледного чела прямыми черными прядями, указывая на полное отсутствие кокетства, что так редко в молодом человеке, который легко бы прослыл красивым, если бы совершенно не отказался от желания нравиться. Давнишняя затаенная печаль наложила страдальческий отпечаток на лицо барона, которое могло бы стать очень привлекательным, если бы его скрасило немножко счастья и естественная в такие годы уверенность в себе не поколебалась бы под напором непреодолимых неудач.

От природы ловкий и сильный, молодой барон двигался с такой вялой медлительностью, как будто отрешился от жизни. Каждым своим сонным машинальным движением, всей своей равнодушной повадкой он явно показывал, что ему безразлично, куда идти, где быть.

Непомерно большая старая шляпа из помятого, прорванного серого фетра спускалась ему до бровей, вынуждая задирать нос, чтобы видеть окружающее; обшипанное перо, смахивающее на рыбий скелет, вздымалось над тульей шляпы с намерением изобразить султан, но, устыдясь своей дерзости, бессильно опадало сзади к полям. Воротник из старинного гипюра,

где ажурные просветы были не только делом рук искусной кружевницы, но и приумножились от ветхости, окружал шею поверх широченного камзола, который явно был сшит на человека более рослого и плотного, нежели тонкий и хрупкий барон. Руки его тонули в рукавах камзола, как в рукавах рясы, а ботфорты с железными шпорами доходили ему до живота. Это причудливое одеяние принадлежало покойному отцу барона, умершему несколько лет тому назад, а теперь сын донашивал платье, которое созрело для старьевщика еще при жизни первого владельца. В таком наряде, надо полагать, весьма модном к началу прошлого царствования, барон имел смешной и вместе с тем трогательный вид, – он казался своим собственным предком. Хотя к памяти отца он питал чисто сыновнее благоговение и ему нередко случалось проследиться, облачаясь в дорогие реликвии, как будто запечатлевшие в своих складках движения и позы усопшего, однако молодому Сигоньяку не так уж нравилось ходить в отцовских обносках. Просто другого платья у него не было, и он обрадовался, найдя на дне сундука наследство такого рода. Его собственная отроческая одежда стала ему мала и узка, а отцовская по крайней мере не стесняла движений. Крестьяне, привыкнув чтить эту одежду на старом бароне, не находили ее смешной и на сыне и смотрели на нее с тем же почтением; они одинаково не замечали ни дыр на полах кафтана, ни трещин на стенах замка. При всей своей бедности Сигоньяк в их глазах по-прежнему был владетельным господином, и упадок этого знатного рода не поражал их так, как поразил бы посторонних, а между тем поистине странное, и грустное и забавное, зрелище являл молодой барон в старых отрепьях на старой кляче, в сопровождении старого пса, точь-в-точь рыцарь смерти с гравюры Альбрехта Дюрера.

Ответив приветливым движением руки на почтительный поклон Пьера, барон молча сел к столу.

Старик снял с крюка котелок, вылил содержимое в глиняную миску на покрошенный заранее хлеб и поставил ее перед бароном – такую деревенскую похлебку до сих пор едят в Гасконии, – потом достал из шкафа кусок студня, дрожавшего на салфетке, посыпанной майсовой мукой, и водрузил на стол дощечку с этим излюбленным здесь кушаньем, которое вместе с похлебкой, куда был брошен кусок сала, – судя по малому своему объему украденный из мышеловки, – составило скудную трапезу барона. Он ел с рассеянным видом, а Миро и Вельзевул расположились по обеим сторонам его стула, в экстазе подняв морды и ожидая, не перепадет ли им что-нибудь с пиршественного стола. Время от времени барон бросал Миро кусок хлеба, от соприкосновения с ломтиками сала приобретшего мясной запах, и пес ловил кусок на лету. Кожица от сала досталась коту, который выразил удовольствие глухим урчанием, подняв при этом лапу с выпущенными когтями, вероятно, чтобы защитить драгоценную добычу.

Кончив этот убогий ужин, барон погрузился в тягостное раздумье или отвлекся далеко не веселыми заботами. Миро положил голову на колено хозяину и устремил на него старческие глаза, подернутые голубоватой дымкой, в которых, однако, мерцала искра почти человеческого разума. Казалось, он понимает мысли барона и пытается выразить ему свое сочувствие. Вельзевул то мурлыкал так громко, что заглушил бы прялку большеной Берты, то жалобно мяукал, желая привлечь рассеянное внимание хозяина. Пьер стоял поодаль, застыв в неподвижности, напоминая те вытянутые в длину гранитные статуи, что украшают соборные порталы, и почтительно выжидал, когда господин его, очнувшись от дум, соизволит дать какое-нибудь распоряжение.

Тем временем ночь уже надвинулась и густые тени скопились в углах кухни, подобно летучим мышам, которые цепляются за карнизы когтями своих перепончатых крыльев. Последние искры огня, которые раздувал шквалистый ветер, врываясь в трубу, бросали красочные блики на группу вокруг стола, связанную между собой печальным содружеством, еще сильнее подчеркивавшим унылое безлюдие замка. От семьи, некогда могущественной и богатой, остался один-единственный отпрыск, точно тень бродивший по замку, населенному лишь призраками предков; из многочисленной дворни сохранился всего один лакей, который слу-

жил своему господину из чистой преданности и никем не мог быть заменен; от своры в тридцать гончих уцелел один только пес, дряхлый и полуслепой, а черный кот как бы воплощал душу пустынного жилища.

Барон знаком показал Пьеру, что желает удалиться. Тот зажег об угли очага просмоленную лучину, – удешевленный образец светильника, которым пользуются неимущие крестьяне, – и отправился вперед, чтобы освещать путь своему господину; Миро и Вельзевул присоединились к шествию; в дымном неверном свете факела колыхались поблекшие фрески на стене вдоль лестницы, а в столовой как будто оживали лица на закопченных портретах, их черные неподвижные глаза, казалось, с жалостью глядели вслед незадачливому потомку.

Когда шествие достигло фантастической спальни, уже описанной нами, старый слуга, подойдя к медному светильнику с одной горелкой, зажег фитиль, изогнувшийся в масле, как глист в спирту, выставленный у аптекаря, после чего удалился в сопровождении Миро. Вельзевул, который пользовался особыми привилегиями, устроился на одном из двух кресел. Барон опустился на второе, удрученный одиночеством, бездельем и скукой.

Если комната и днем представлялась обиталищем привидений, то вечером в зыбком свете медной лампочки дело обстояло куда хуже. Шпалеры принимали мертвенный оттенок, а освещенный охотник точно оживал на фоне темной зелени. Прицелившись из аркебузы, он, как убийца, караулил жертву, и красные губы еще ярче выступали на его бледном лице. Казалось, это рот вампира, обогранный кровью.

От сырости огонек лампы потрескивал, то вспыхивая, то затухая, ветер гудел в коридорах, как орган, и непонятные жуткие шумы раздавались в пустынных комнатах.

Погода испортилась, крупные дождевые капли барабанили в стекла окон, и те дребезжали, сотрясаемые шквалом. Казалось, оконная рама вот-вот поддастся и распахнется, словно ее кто-то толкал снаружи. Это буря наваливалась на утлую преграду. Временами, вступая в общий хор, одна из сов, гнездившихся под крышей, испускала пронзительный крик, похожий на вопль ребенка, которого режут, или сердито стучала крыльями в освещенное окно.

Но владелец печального замка, привычный к этой зловещей музыке, не обращал на нее ни малейшего внимания. Только Вельзевул с беспокойством, присущим животным его породы, при всяком шорохе настораживал остатки ушей и пристально вглядывался в темные углы, словно различал в них нечто незримое для не приспособленного ко мраку человеческого глаза. Этот кот, ясновидец с дьявольским именем и обличем, привел бы в трепет всякого менее храброго, нежели барон; судя по загадочной мине кота, немало удивительного должно было открыться ему во время ночных прогулок по чердакам и нежилым покоям замка, и не раз, надо полагать, где-нибудь в дальнем конце коридора бывали у него встречи, от которых у человека виски побелели бы волосы.

Сигоньяк взял со стола книжечку с вытисненным на потертom переплете фамильным гербом и стал машинально перелистывать ее. Глаза его прилежно скользили по строчкам, но мысли были далеко и не желали сосредоточиться на одах и любовных сонетах Ронсара, невзирая на их превосходные рифмы и хитроумные повороты, возрождающие искусство греков. Вскоре он отбросил книгу и начал расстегивать камзол медлительными движениями человека, который не хочет спать и ложится от нечего делать, надеясь в дремоте утопить скуку. Темной дождливой ночью в разоренном замке, затерянном в океане вереска, так тоскливо слушать падение песчинок на дно песочных часов, когда на десять миль в окружности нет ни одной живой души.

И в самом деле, у молодого барона, единственного на земле представителя рода Сигоньяков, было достаточно поводов для грусти. Его предки расстраивали свое состояние на разные лады: одних разоряла игра, других – война, третьих – суетное желание пускать пыль в глаза, в итоге каждое поколение передавало последующему все скудешнее достояние. Фьефы, мызы, фермы и земли, принадлежавшие к замку, отпадали одни за другими, и, употребив неимовер-

ные усилия, чтобы восстановить благосостояние семьи, усилия, оказавшиеся тщетными, ибо поздно затыкать пробоины, когда судно идет ко дну, – предпоследний Сигоньяк не оставил в наследство сыну ничего, кроме разрушающегося замка и нескольких десятин бесплодной земли вокруг него; остальное досталось кредиторам и ростовщикам.

Тощие руки нищеты качали колыбель ребенка, и высохшие сосцы питали его. В раннем возрасте, лишившись матери, которая зачахла в этом обветшалом доме от скорбных мыслей о незавидной участи сына, он не видел ласковой и любовной заботы, окружающей детей даже в самых неимущих семьях. Отец, которого он все же искренне оплакивал, выражал свое внимание пинками в зад и приказами высечь мальчика. Теперь же скука так одолевала молодого барона, что он только порадовался бы, если бы отец вновь поучил его на свой лад, потому что отцовские колотушки, которые сын вспоминал, умиляясь до слез, – это тоже вид общения с себе подобными, а четыре года после того, как старый барон упокоился под каменной плитой в фамильном склепе Сигоньяков, молодой человек жил в полном одиночестве. Юношеской гордости барона претило появляться перед местной знатью на празднествах и охотах без приличествующей его званию экипировки.

И в самом деле, что сказали бы люди при виде барона де Сигоньяка, обряженного, как бродяга с большой дороги или сборщик яблок в Перше? Эта же причина помешала ему наняться в услужение к какому-нибудь владетельному князю. Потому-то многие полагали, что род Сигоньяков угас, и забвение, вырастающее над мертвецами быстрее, чем трава, стирало память об этой семье, некогда влиятельной и богатой, и мало кто знал, что существует еще отпрыск этого захиревшего рода.

Уже несколько минут Вельзевул проявлял признаки беспокойства, он поднимал голову, водил носом, словно чуя опасность, он тянулся к окну, упираясь лапками о раму, и пытался взглядом проникнуть в густую темень ночи, исполосованную стремительными потоками ливня; его наморщенный нос ходил ходуном. Протяжное рычание Миро, нарушившее тишину, подкрепило тревожную мимику кота, – положительно в окрестностях замка, всегда столь спокойных, творилось нечто необычное. Миро продолжал лаять со всей доступной при хронической хрипоте силой. Барон, не желая быть захваченным врасплох, поднялся и застегнул только что расстегнутый камзол.

– Что это вздумалось Миро поднять такой шум? Обычно-то он с самого заката храпит у себя в конуре, как пес семи спящих отроков. Может статься, волк пробрался к ограде? – произнес молодой человек, снимая со стены шпагу с массивной железной чашкой и затягивая до последнего отверстия поясной ремень, который был сделан по мерке старого барона и мог дважды обвить стан его сына.

Три сильных удара с правильными промежутками сотрясли входную дверь и стоном отзывались в пустынных покоях.

Кто мог в такой поздний час нарушить одиночество замка и тишину ночи? Какой незадачливый путник задумал постучать в эту дверь, давно уже не открывавшуюся навстречу посетителю, не из-за недостатка гостеприимства, а за отсутствием гостей? Кто искал приюта в этой харчевне голода, в этой цитадели великого поста, в этом убежище скудости и нищеты?

II

Повозка Феспида

Сигоньяк спустился с лестницы, рукой защищая пламя лампы от порывов ветра, грозившего загасить ее. Отблеск огонька пронизывал его исхудалые пальцы, делая их прозрачно-розовыми, и, хотя на дворе была ночь и следом за ним не солнце вставало, а плелся черный кот, все же он с полным правом мог присвоить себе тот эпитет, которым старик Гомер наградил богиню Аврору.

Сняв тяжелый болт и приоткрыв подвижную створку двери, он очутился лицом к лицу с каким-то незнакомцем. Когда барон поднял лампу к самому его носу, из темноты выступила довольно странная физиономия: на свету и дожде голый череп отливал желтоватым масляным гляncем. Седая каемка волос прилипла к вискам; нос, украшенный угрями и рдевший пурпуром виноградного сока, произрастал в виде луковицы между двумя разномастными глазами, прикрытыми густейшими и неестественно черными бровями; дряблые щеки были усеяны багровыми пятнами и пронизаны красными прожилками; толстогубый рот пьяницы и сатира и подбородок с бородавкой, из которой во все стороны торчала жесткая щетина, дополняли облик, достойный быть изваянным в виде маски чудовища под карнизом Нового моста. Своего рода добродушное лукавство смягчало эти мало привлекательные на первый взгляд черты. Кроме того, сощуренные щелки глаз и растянутые до ушей углы губ пытались изобразить любезную улыбку. Эта физиономия шута, как на блюде поданная на брыжах сомнительной белизны, венчала тощую фигуру в черном балахоне, которая изогнулась дугой, отвечившая преувеличенно учтивый поклон.

Покончив с приветствиями, забавный посетитель предупредил вопрос, готовый сорваться с уст барона; несколько напыщенным и высокопарным тоном он произнес:

– Благоволите извинить меня, государь мой, за то, что я позволил себе постучаться в двери вашего замка, несмотря на столь поздний час и не послав вперед пажа или карлика, трубящего в рог. Но необходимость не знает законов и вынуждает самых светских людей совершать величайшие проступки против вежливости.

– Что вам надобно? – сухо прервал барон разглагольствования старого чудака.

– Пристанище для меня и для моих собратьев, принцев и принцесс, Леандров и Изабелл, лекарей и капитанов, путешествующих из города в город на колеснице Феспида, колеснице, влекомой волами по античному образцу, ныне же завязшей в грязи близ вашего замка.

– Если я верно вас понял, вы – странствующие комедианты и сейчас сбились с пути?

– Трудно яснее истолковать смысл моих слов, вы попали в самую точку, – ответил актер. – Надеюсь, ваша милость не отклонит моей просьбы?

– Хотя жилище у меня порядком запущено и я мало чем могу вас убоготворить, все же здесь вам будет несколько лучше, чем под открытым небом в проливной дождь.

Педант – таково, по-видимому, было его амплуа в труппе – поклоном выразил свою благодарность.

Во время этого диалога Пьер, разбуженный лаем Миро, поднялся и тоже поспешил к дверям. Узнав о том, что тут происходит, он зажег фонарь, и все трое направились к увязшей в грязи повозке.

Фат Леандр и забияка Матамор толкали повозку сзади, а Тиран понукал волов своим трагедийным кинжалом. Актрисы, кутаясь в длинные мантильи, ужасались, охали и взвизгивали. Благодаря неожиданному подкреплению, а главное, умелой помощи Пьера, тяжелую колымагу удалось вскорости вызволить и направить на твердую почву, после чего она, проехав под стрельчатым сводом, достигла замка и была поставлена во дворе.

Волов распрягли и водворили на конюшне рядом с белой клячей; актрисы спрыгнули с повозки и, расправив смятые фижмы, последовали за Сигоньяком наверх, в столовую, более других комнат сохранившую жилой вид. Набрав в сарае охапку дров и вязанку хвороста, Пьер бросил их в камин, где они разгорелись веселым пламенем. Хотя стояло всего лишь начало осени, однако не мешало подсушить у огонька отсыревшие одежды приезжих дам; да и ночь была прохладная, и ветер свистел в растрескавшихся панелях почти необитаемой комнаты.

Комедианты, привыкшие в своей кочевой жизни ночевать где попало, все же с удивлением взирали на это странное обиталище, казалось, давно уже отданное человеком во власть духам и невольно представлявшееся местом действия жестоких трагедий. Однако, будучи людьми благовоспитанными, они не обнаружили ни испуга, ни изумления.

– Я могу предложить вам лишь сервировку, – сказал молодой барон, – моих запасов не хватит и на то, чтобы насытить мышонка. Я живу здесь в полном одиночестве, никого не принимаю, и вам должно быть ясно даже без моих слов, что Фортуна давно отлетела отсюда.

– Не тревожьтесь этим, – возразил Педант, – на театре нас потчуют картонными пулярами и вином из трухлявых деревяшек, зато для обычной жизни мы обеспечиваем себя более сытными кушаньями. Бутафорское жаркое и воображаемый напиток – слабое подспорье для наших желудков, и у меня, как у провиантмейстера труппы, всегда имеется в запасе то ли окорок байоннской ветчины, то ли паштет из дичи, а то и филейная часть ривьерской телятины и в придачу с дюжину бутылок кагора и бордо.

– Золотые слова, Педант! – воскликнул Леандр. – Ступай принеси провизию, и если любезный хозяин позволит и согласится сам откусать с нами, мы прямо тут и приготовим пиршественный стол. В здешних поставках найдется вдоволь посуды, а наши дамы расставят приборы.

Еще не вполне придя в себя от неожиданности, барон жестом выразил согласие. Изабелла и донна Серафина, сидевшие подле огня, встали и принялись хлопотать у стола, после того как Пьер смахнул с него пыль и постелил старенькую, но чистую скатерть.

Вскоре появился Педант, неся в каждой руке по корзине, и торжествующе водрузил посреди стола крепость со стенами из подрумяненного теста, в недрах которой скрывался целый гарнизон перепелов и куропаток. Эту гастрономическую твердыню он окружил шестью бутылками, как бастионами, которые надо одолеть, прежде чем добраться до самой крепости. Копченые говяжьи языки и ветчина были поставлены по обе ее стороны.

Вельзевул взобрался на один из буфетов и с любопытством следил сверху за непривычными приготовлениями, стараясь насладиться хотя бы запахом этих дивных изобильных яств. Его нос, похожий на трюфель, впитывал ароматные испарения, зеленые глаза сверкали восторгом, подбородок был посеребрен слюной вожеления. Он не прочь был приблизиться к столу и принять участие в трапезе, достойной Гаргантюа и решительно идущей вразрез обычному здесь подвижническому воздержанию; но его пугали незнакомые лица, и трусость брала верх над жадностью.

Находя, что свет лампы недостаточно ярок, Матамор достал из повозки два бутафорских шандала из дерева, оклеенного золоченой бумагой, с несколькими свечами в каждом, отчего освещение стало, можно сказать, роскошным. Эти шандалы, по форме напоминавшие библейские семисвечники, ставились на алтарь Гименея в финале феерий или на пиршественный стол в «Марианне» Мэре и в «Иродиаде» Тристана.

От них и от пылающих сучьев мертвая комната как будто ожила. Розовые блики окрасили бледные лица на портретах, и пусть добродетельные вдовицы в тугих воротничках до подбородка, в чопорных робронах поджимали губы, глядя, как молодые актрисы резвятся в этом суровом замке, зато воины и мальтийские рыцари, казалось, улыбались им из своих рам и рады были присутствовать при веселой пирушке; исключение составляли двое-трое седовла-

сих старцев с надутой миной под желтым лаком, невзирая ни на что хранивших то злобное выражение, какое придал им живописец.

В огромной зале, обычно пропитанной могильным запахом плесени, повеяло жизнью и теплом. Обветшание мебели и обоев стало менее заметно, бледный призрак нищеты, казалось, на время покинул замок.

Сигоньяк, поначалу неприятно пораженный происшедшим, теперь отдался во власть сладостных ощущений, не изведанных ранее. Изабелла, донна Серафина и даже Субретка приятно волновали его воображение, представляясь ему скорее божествами, сошедшими на землю, нежели простыми смертными. Они в самом деле были прехорошенькими женщинами, способными увлечь даже не такого неискушенного новичка, как наш барон. Ему же все это казалось сном, и он ежеминутно боялся проснуться.

Барон повел к столу донну Серафину и усадил ее по правую свою руку. Изабелла заняла место слева, Субретка напротив, Дуэнья расположилась возле Педанта, а Леандр и Матамор уселись кто куда. Теперь молодому хозяину была дана полная возможность рассмотреть лица гостей, рельефно выступающие на ярком свете. Прежде всего его внимание обратилось на женщин, а потому уместно будет вкратце обрисовать их, пока Педант пробивает брешь на подступах к пирогу.

Серафина была молодая женщина лет двадцати четырех – двадцати пяти; привычка играть героинь наделила ее манерами и жеманством светской кокетки. Слегка удлинненный овал лица, нос с горбинкой, выпуклые серые глаза, вишневый рот с чуть раздвоенной, как у Анны Австрийской, нижней губой придавали ей приятный и благородный вид, чему способствовали и пышные каштановые волосы, двумя волнами ниспадавшие вдоль щек, которые от оживления и тепла рдели сейчас нежным румянцем. Длинная прядка, именуемая усиком и подхваченная тремя черными шелковыми розетками, отделялась с каждой стороны от завитков куафюры, оттеняя ее воздушное изящество и уподобляясь завершающим мазкам, которые художник наносит на картину. Голову Серафины венчала лихо посаженная фетровая шляпа с круглыми полями и с перьями, из коих одно спускалось ей на плечи, а остальные были круто завиты; отложной воротник мужского покроя, обшитый алансонским кружевом, и такой же, как на усиках, черный бант обрамляли ворот зеленого бархатного платья с обшитыми позументом прорезями на рукавах, сквозь которые виднелся второй, сборчатый кисейный рукав; белый шелковый шарф, переброшенный через плечо, подчеркивал кричащее щегольство наряда.

В этом франтовском уборе Серафина очень подходила для ролей Пентесилеи или Марфизы, для дерзких походов и для комедий плаща и шпаги. Конечно, все это было не первой свежести, бархат на платье местами залоснился от долгого употребления, воротник смялся, при дневном свете всякий бы заметил, что кружева порыжели; золотое шитье на шарфе, если приглядеться, стало бурым и отдавало явной мишурой; позумент кое-где протерся до ниток, помятые перья вяло трепыхались на полях шляпы, волосы слегка развились, и соломинки из повозки самым жалостным образом вплелись в их великолепие.

Однако эти досадные мелочи не мешали донне Серафине иметь осанку королевы без королевства. Если одежда ее была потрепана, то лицо дышало свежестью, а кроме того, этот туалет казался ослепительным молодому барону де Сигоньяку, непривычному к такой роскоши и видевшему на своем веку лишь крестьянок в юбках из грубой шерсти и в коломанковых чепцах. К тому же он был слишком занят глазами красоти, чтобы обращать внимание на изъяны ее наряда.

Изабелла была моложе донны Серафины, как того и требовало амплуа простушки. Она не позволяла себе рядиться кричаще, довольствуясь изящной простотой, приличествующей дочери Кассандра, девице незнатного рода. У нее было миловидное, почти детское личико, шелковистые русые волосы, затененные длинными ресницами глаза, ротик сердечком и девическая скромность манер, скорее естественная, нежели наигранная. Корсаж из серой тафты,

отделанный черным бархатом и стеклярусом, спускался мысом на юбку того же цвета. Гофрированный воротник поднимался сзади над грациозной шеей, где колечками вились пушистые волосы, а вокруг шеи была надета нитка фальшивого жемчуга. Хотя с первого взгляда Изабелла меньше привлекала внимание, чем Серафина, зато дольше удерживала его. Она не ослепляла – она пленяла, что, безусловно, более ценно.

Субретка полностью оправдывала прозвище *могепа*, которое испанцы дают черноволосым женщинам. Кожа у нее была золотисто-смуглого оттенка, свойственного цыганкам. Жесткие курчавые волосы были чернее преисподней, а карие глаза искрились бесовским лукавством. Между яркими пунцовыми губами ее большого рта то и дело белой молнией вспыхивал оскал зубов, которые сделали бы честь молодому волку. Словно опаленная зноем страсти и огнем ума, она была худа, но той молодой здоровой худобой, которая только радует взор. Без сомнения, она и в жизни и на театре наловчилась получать и передавать любовные записки; какой же уверенностью в своих чарах должна была обладать дама, пользующаяся услугами подобной субретки. Немало пылких признаний, проходя через ее руки, не попали по назначению, и не один волокита, забыв о возлюбленной, замешкался в передней. Она была из тех женщин, которые некрасивы в глазах подруг, но неотразимы для мужчин и будто сделаны из теста, сдобренного солью, перцем и пряностями, что не мешает им проявлять хладнокровие ростовщика, чуть дело коснется их интересов. На ней был фантастический наряд, синий с желтым, и мантилья из дешевых кружев.

Тетка Леонарда, «благородная мать» труппы, была одета во все черное, как полагается испанским дуэньям. Тюлевая оборка чепца окружала ее обрюзгшее лицо с тройным подбородком, как бы изъеденное сорока годами гримировки. Желтизна старой слоновой кости и лежалого воска свидетельствовала о болезненности ее полноты – скорее признака преклонных лет, чем здоровья. Глаза, словно два черных пятна на этом мертвенно-бледном лице, хитро поблескивали из-под дряблых век. Углы рта были оттенены темными волосками, которые она тщательно, но тщетно выщипывала; лицо это почти совсем утратило женственные черты, а в морщинах его запечатлелось немало всяческих похуждений, только вряд ли кто стал бы до них доискиваться. Леонарда с детства была на подмостках, познала все превратности этого ремесла и последовательно переиграла все роли, кончая ролями дуэний, с которыми так неохотно мирится женское кокетство, не желающее видеть разрушительные следы годов. Обладая недюжинным талантом, Леонарда при всей своей старости умудрялась срывать рукоплескания даже рядом с молоденькими и хорошенькими товарками, которых удивляло, что одобрение публики относится к этой старой ведьме.

Таков был женский персонал труппы. В ней имелись все персонажи комедии, а если исполнителей не хватало, то в пути всегда удавалось подобрать какого-нибудь бродячего актера или любителя, которому лестно было сыграть хотя бы маленькую роль и заодно приблизиться к Анжеликам и Изабеллам. Мужской персонал составляли описанный выше Педант, к которому незачем больше возвращаться, затем Леандр, Скапен, трагик Тиран и хвастун Матамор.

Леандр, по должности призванный превращать в кротких овечек даже гирканских тигриц, брать верх над Эргастами, дурачить Труффальдино и проходить через все пьесы торжествующим победителем, был молодой человек лет тридцати, но на вид казался почти юношей, благодаря неустанным заботам о своей наружности. Нелегкое дело олицетворять в глазах зрительниц любовника – это загадочное и совершенное существо, которое каждый создает по своему произволу, руководствуясь «Амадисом» или «Астреей». Потому-то наш Леандр усердно мазал физиономию спермацетом, а к вечеру посыпал тальком; брови его, из которых он выщипывал непокорные волоски, казались чертой, наведенной тушью, а к концу сходили на нет, зубы, начищенные донельзя, блестели, как жемчужины, и он поминутно обнажал их до самых десен, пренебрегая греческой пословицей, которая гласит, что нет ничего глупее глупого смеха. Товарищи его утверждали, что для авантжности он слегка румянился даже вне

сцены. Черные волосы, тщательно завитые, спускались у него вдоль щек блестящими спиралями, несколько пострадавшими от дождя, что давало ему повод навивать их на палец, показывая холеную белую руку, на которой сверкал бриллиант, слишком большой для настоящего. Отложной воротник открывал округлую белую шею, выбритую так, что под горлом не осталось ни намека на растительность. Каскад относительно чистой белой кисеи ниспадал от камзола до панталон, перевитых ворохом лент, о сохранности которых он, видимо, очень заботился. Он смотрел взором без памяти влюбленного даже на стенку и напиток просил замирающим голосом. Каждую фразу он сопровождал томным вздохом и, говоря о самых обыкновенных предметах, преуморительно жеманничал и закатывал глаза; однако женщины находили его ужимки обольстительными.

У Скапена была заостренная лисья мордочка, хитрая и насмешливая, вздернутые под углом брови, резвые живчики-глаза, желтые зрачки которых мерцали, как золотая точка на капле ртути; лукавые морщинки в углах век таили бездну лжи, коварства и плутовства, тонкие подвижные губы неустанно шевелились, открывая в двусмысленной ухмылке острые и кроважадные клыки; когда он снимал белый в красную полоску берет, под остриженными ежиком волосами обнаруживался шишковатый череп, а сами волосы, рыжие и свалявшиеся, как волчья шерсть, дополняли весь его облик, напоминающий злокозненного зверя. Так и тянуло взглянуть, не видно ли на руках этого молодчика мозолей от весел, потому что он явно какой-то срок писал свои мемуары на волнах океана пером длиной в пятнадцать футов. Его голос внезапно со странными модуляциями и взвизгами переходил с высоких нот на низкие, озадачивая слушателей и вызывая у них невольный смех; его жесты, неожиданные, порывистые, как от действия скрытой пружины, пугали своей несуразностью и, по-видимому, преследовали цель удержать внимание собеседника, а не выразить какую-то мысль или чувство. Это были маневры лисы, без конца кружащей под деревом, не давая опомниться тетереву, который сверху не спускает с нее глаз, прежде чем свалится ей в пасть.

Из-под его серого балахона виднелись полосы традиционного костюма, который он не успел сменить после недавнего представления; а может, за скудостью гардероба, он носил в жизни то же платье, что и на сцене.

Что до Тирана, то это был большой добряк, которого природа, надо полагать, в шутку, наделила всеми внешними признаками свирепости. Никогда еще столь кроткая душа не была заключена в столь богопротивную оболочку. Сходящиеся над переносицей черные косматые брови в два пальца шириной, курчавые волосы, густая борода до самых глаз, которую он не брил, чтобы не нуждаться в накладной, играя Иродов и Полифонтов, темная, будто дубленая кожа – все, вместе взятое, делало его наружность такой грозной и страшной, какой художники любят наделять палачей и их подручных в мучениях апостола Варфоломея или усекновениях главы Иоанна Крестителя. Зычный голос, от которого дребезжали оконные стекла и подпрыгивали стаканы на столе, усугублял впечатление ужаса, производимое этим страшилищем, облаченным в допотопный черный бархатный кафтан; недаром публика обмирала, когда он, рыча и завывая, читал стихи Гарнье и Скюдери. Кстати, брюхо у него было внушительное, способное заполнить любой трон.

Актер на ролях забияки и хвастуна был худ, костляв, черен и сух, как висельник летом; кожа у него казалась пергаментом, наклеенным на костяк; огромный нос, похожий на клюв хищной птицы, с горбинкой, блестящей, точно рог, перегораживал пополам вытянутую физиономию, которую еще удлиняла остроконечная бородка. Из этих двух профилей, склеенных друг с другом, еле-еле получалось лицо, а глаза, чтобы поместиться на нем, были по-китайски скошены к вискам. Подбритые черные брови загибались запятой над бегающими глазами, а непомерно длинные усы, напояженные на концах, были закручены кверху и грозили небу своими острями; оттопыренные уши смахивали на ручки горшка и служили мишенью для щелчков и оплеух. Весь этот нелепый облик, скорее похожий на карикатуру, чем на живого

человека, казалось, был вырезан каким-то шутником на грифе трехструнной скрипки или срисован с тех диковинных птиц и зверей, которые, на радость обжорам, светятся по вечерам в фонарях перед лавкой пирожника. Ужимки хвастуна и забияки Матамора стали его второй натурой, и, даже сойдя с подмостков, он выступал, расставляя ноги циркулем, задрав голову, подбоченясь одной рукой, а другую положив на эфес шпаги. Наряд его составлял желтый камзол, выгнутый в форме кирасы, отороченный зеленым, с поперечными прорезями на испанский лад; крахмальный, торчащий при помощи проволоки и картона воротник величиной с круглый стол, за которым могли бы пировать все двенадцать паладинов; панталоны, собранные в буфы, белые козловые ботфорты, в которых его петушинные ноги болтались, как флейты в футлярах, когда их уносит странствующий музыкант, и, наконец, гигантская рапира, с которой Матамор не расставался никогда, хотя ее кованый ажурный эфес весил не меньше пятидесяти фунтов; поверх всего этого облачения он для пушей важности драпировался в плащ, край которого задирался от шпаги. Не желая ничего упустить, добавим, что два петушинных пера, разветвленных, как убор рогоносца, презабавно торчали на его серой фетровой шляпе с тульей, вытянутой в виде реторты.

Ремесло писателя уступает ремеслу живописца в том, что он может показывать предметы лишь последовательно. Достаточно было бы беглого взгляда, чтобы охватить картину, в которой художник сгруппировал бы за столом всех обрисованных нами персонажей; там запечатлелись бы все блики света и тени, разнообразные позы с присущим каждой фигуре колоритом, и мельчайшие подробности костюма, недостающие нашему описанию, и без того длинному, как ни старались мы сделать его покороче; но надо же нам было познакомить вас с трупной комедиантов, так неожиданно вторгнувшихся в уединенный замок Сигоньяка.

Начало ужина прошло в молчании; большой аппетит, как и большое чувство, всегда безмолвен. Но когда первый, самый лютей голод был утолен, языки развязались. Молодой барон, должно быть, не наедавшийся досыта с тех пор, как его отняли от груди, хоть и желал казаться перед Серафиной и Изабеллой мечтательным и влюбленным, однако поедал, или, вернее, пожирал, все кушанья с величайшей алчностью, – трудно было поверить, что он уже поужинал. Педанта забавляла такая юношеская ненасытность, и он все подкладывал на тарелку хозяина замка крылышки куропаток и ломти ветчины, и они тотчас же исчезали, как хлопья снега на раскаленном железе. Вельзевул, у которого жадность взяла верх над страхом, решился покинуть свой неприступный пост на карнизе поставца, резонно рассудив, что за уши оттрепать его трудно по причине отсутствия ушей, так же как вряд ли возможно проделать с ним шутку дурного тона, привязав ему к хвосту кастрюлю, ибо без наличия такового немислимо и столь вульгарное озорство, недостойное людей благовоспитанных, какими казались гости, сидевшие вокруг стола, заставленного сочнеешими и благоуханнейшими яствами. Он прокрался к столу, прячась в тени и распластавшись так, что сгибы его лап торчали, как локти над туловищем, – точь-в-точь пантера, подстерегающая газель. Добравшись до стула, на котором сидел Сигоньяк, он поднялся и, чтобы привлечь внимание хозяина, всеми десятью когтями принялся скрестить его колено, будто играл на гитаре. Сигоньяк, снисходительный к смиренному другу, который столько времени терпел голод, служа своему господину верой и правдой, не замедлил разделить с ним удачу, бросая ему под стол кости и объедки, которые кот принимал с бурной признательностью. Пес Миро проник в пиршественную залу вслед за Пьером и тоже получил немало лакомых кусков.

Жизнь словно возвратилась в мертвое жилище, наполнив его светом, теплом и шумом. Актрисы, хлебнув по глотку вина, стрекотали, как сороки на ветках, превознося таланты друг друга. Педант и Тиран спорили о сравнительных достоинствах пьесы комической и пьесы трагической, – один утверждал, что куда труднее вызвать у почтенных зрителей смех, нежели напугать их нянюшкиными сказками, у которых нет иных преимуществ, кроме старины, дру-

гой же доказывал, что шутки и прибаутки, сочиняемые комедиографами, принижают самого автора.

Леандр достал из кармана зеркальце и смотрелся в него с таким же самодовольством, как блаженной памяти Нарцисс в воды ручья. Наперекор своим ролям, Леандр не был влюблен в Изабеллу – он метил выше. Авантажной наружностью, великосветскими манерами он надеялся прельстить какую-нибудь пылкую аристократическую вдовушку, чья карета, запряженная четверней, подхватит его у выхода из театра и умчит в замок, где чувствительная красавица будет его дожидаться в соблазнительном неглиже, перед столом с самыми изысканными кушаньями. Осуществилась ли его мечта хоть раз? Леандр утверждал, что да... Скапен отрицал, и это возбуждало между ними нескончаемые споры. Несносный слуга, проказливый, как мартышка, уверял, что сколько бы бедняга ни стрелял глазами, бросая в логи убийственные взгляды, ни смеялся, скаля все тридцать два зуба, сколько бы ни играл мускулами ног, ни изгибал стан, приглаживал гребешочком волосы парика и менял белье к каждому представлению, лишая себя завтрака, чтобы заплатить прачке, – все же до сих пор он не вызвал вожделения ни у одной знатной дамы, даже сорокапятилетней, с красными пятнами и волосатыми бородавками на лице.

Поймав Леандра на созерцании своей персоны, Скапен ловко возобновил привычный спор, и разъяренный фат предложил пойти отыскать среди багажа баульчик с раздушенными мускусом и росным ладаном любовными записочками, полученными им от целой толпы высококородных особ – графинь, маркиз и баронесс, восплававших к нему страстью; и это не было пустой похвалой, ибо порочная склонность к гаерам и комедиантам была довольно распространена в тот век распущенных нравов. Серафина заявила, что на месте этих знатных дам она велела бы отстегать Леандра за дерзость и болтливость, а Изабелла в шутку пригрозила, что не пойдет за него замуж в конце пьесы, если он не будет поскромнее.

Сигоньяк же, хотя ужасное смущение тисками сдавило ему горло и мешало говорить связно, не мог скрыть, как он восхищен Изабеллой, и глаза его были красноречивее уст. Девушка, заметив, какое впечатление она производит на барона, отвечала ему томными взглядами, к великому неудовольствию Матамора, втайне влюбленного в нее, впрочем, без всякой надежды на взаимность, ввиду его комического амплуа. Всякий другой, более ловкий и дерзкий, чем Сигоньяк, повел бы себя решительнее; но наш бедный барон не обучился придворным манерам в своем обветшалом замке и, хотя не страдал недостатком ума и образования, сейчас имел довольно глупый вид.

Все десять бутылок были добросовестно опорожнены, и Педант перевернул последнюю, осушив ее до дна; Матамор верно понял этот жест и отправился за новой партией бутылок, оставшихся внизу в повозке. Барон уже слегка охмелел, однако не мог удержаться, чтобы не поднять за здоровье дам полный бокал, доконавший его.

Педант и Тиран пили, как истые пьяницы, которые никогда не бывают ни совсем трезвы, ни совсем пьяны; Матамор был по-испански воздержан и мог бы существовать, как те идальго, что обедают тремя оливками и ужинают серенадой под мандолину. Такая умеренность имела веские основания: он боялся есть и пить всласть, чтобы не утратить свою феноменальную худобу – лучшее из его комических средств. Полнота нанесла бы урон его дарованию, а потому он, чтобы существовать, постоянно умирал с голоду и в страхе то и дело проверял, сходится ли на нем пояс, не пополнел ли он, чего доброго, со вчерашнего дня. Тантал по своей воле, актер-трезвенник, мученик во имя худобы, ходячий анатомический препарат, он жил впроголодь, и, постись он с благочестивой целью, ему был бы уготован рай, как святым отшельникам Антонию и Макарию. Дуэнья поглощала пищу и питье в невероятных количествах, ее дряблые щеки и тройной подбородок ходили ходуном от работы челюстей, пока еще оснащенных зубами. Что касается Серафины и Изабеллы, то они зевали наперебой и, за неимением веера,

прикрывали рот своими прозрачными пальчиками. Сигоньяк, заметив это, несмотря на винные пары, обратился к ним:

– Сударыни, я вижу, вам до смерти хочется спать, хотя вежливость вынуждает вас бороться со сном. Я охотно предоставил бы каждой из вас по обитой штофом комнате с туалетной и альковом, но мое злосчастное жилище пришло в упадок, как и мой род, от которого остался я один. Я уступаю вам свою спальню, чуть ли не единственную комнату, где не течет с потолка; вы разместитесь там вдвоем с госпожой Леонардой, у меня кровать широкая, и вы кое-как скоротаете ночь. Мужчины останутся здесь и устроятся на скамьях и креслах. Только не бойтесь ни шороха обоев, ни воя ветра в трубе, ни беготни мышей; могу вас заверить, что, при всей мрачности моего дома, привидений в нем не водится.

– Я играю воинственных героинь и ничего не боюсь. Я подбодрю трусишку Изабеллу, – смеясь, ответила Серафина. – А Дуэнья и сама у нас немножко колдунья, и если к нам явится черт, она даст ему достойный отпор.

Сигоньяк взял светильник и проводил дам в спальню, на самом деле вселявшую жуть, – ветер колебал неверное пламя, и по балкам потолка пробежали причудливые тени, а в неосвещенных углах, казалось, ютятся фантастические чудовища.

– Превосходная декорация для пятого акта трагедии, – заметила Серафина, оглядываясь по сторонам, меж тем как Изабелла, очутившись в этой промозглой тьме, невольно вздрогнула не то от холода, не то от страха.

Все три женщины, не раздеваясь, нырнули под одеяло. Изабелла улеглась посередине на тот случай, если из-под кровати высунется мохнатая лапа какого-нибудь призрака или оборотня, чтобы ему попала сперва Дуэнья или Серафина. Обе ее храбрые товарки вскоре заснули, а пугливая девушка долго лежала, устремив открытые глаза на заколоченную дверь, словно подозревая, что за ней таятся целые сонмы привидений и ночных ужасов. Однако дверь не отворилась, никакой призрак в саване не появился оттуда, потрясая цепями, хотя непонятные звуки и доносились порой из пустынных покоев; но под конец сон посыпал золотым песком веки боязливой Изабеллы, и ее ровное дыхание вторило теперь похрапыванию ее товарок.

Педант спал крепчайшим сном, уткнувшись носом в стол, напротив Тирана, который оглушительно храпел и во сне бубнил обрывки александрийских стихов. Матамор оперся головой о спинку кресла, положил вытянутые ноги на каминную решетку, завернулся в свой серый плащ и стал похож на селедку в бумаге. Боясь помять свою куафюру, Леандр держал голову прямо, однако спал очень сладко. Сигоньяк прикорнул в оставшемся свободным кресле, но события этой ночи взволновали его, и ему не спалось.

Две молодые женщины не могут вторгнуться в жизнь юноши, не возмутив ее, особенно если этот юноша до той поры жил без радостей, лишенный всех утех юных лет по милости злой мачехи, которую зовут нищетой.

Пожалуй, покажется неправдоподобным, что молодой человек дожил до двадцати с лишним годов без единой интрижки; но Сигоньяк был горд, и, не имея возможности появляться в свете так, как приличествовало его имени и положению, он предпочитал сидеть дома. Родители его умерли, а кроме них, ему не у кого было просить помощи, и он с каждым днем все более погружался в уединение и тоску. Правда, не раз во время своих одиноких прогулок он встречал Иоланту де Фуа, скакавшую на белом иноходце в погоне за оленем, в сопровождении отца и молодых вельмож. Это лучезарное видение часто мелькало в его снах; но что общего могло быть между богатой знатной красавицей и им – захудалым, обнищавшим, убогим на вид дворянчиком? Он, отнюдь не желая быть замеченным ею, наоборот, при встречах старался стушеваться, из боязни вызвать смех своей помятой линялой шляпой с изъеденным крысами пером, поношенной мешковатой одеждой и старой смиренной клячей, более подходящей для сельского священника, нежели для дворянина, ибо нет ничего обиднее для благородного сердца, чем показаться смешным предмету своей любви; стремясь заглушить зарождающееся

чувство, Сигоньяк приводил себе все трезвые и суровые доводы, какие может внушить бедность. Удалось ли ему это? Нам судить трудно. Сам он считал, что ему удалось отогнать от себя эту мысль, как несбыточную мечту, полагая, что ему и без того довольно несчастий и незачем к ним добавлять муки неразделенной любви.

Ночь прошла без особых приключений, если не считать испуга, причиненного Изабелле Вельзевулом, который пристроился на ее груди и не желал уходить с такой мягкой подушки.

Сигоньяк же всю ночь не сомкнул глаз, оттого ли что не привык спать иначе как в постели, оттого ли что его взбудоражило соседство хорошеньких женщин. Мы скорее склонны думать, что смутные планы роились у него в голове, смущая его и гоня сон. Появление комедиантов представлялось ему счастливым случаем, зовом самой судьбы, побуждающей его покинуть родовую лачугу, где его молодые годы увядали бесславно и бесцельно.

Занимался день, и голубоватый свет, проникая сквозь окна в частых свинцовых переплетах, придавал болезненно-желтый оттенок огню угасающих ламп. Освещенные с двух сторон лица спящих оказались двухцветными, наподобие средневековых костюмов. Леандр пожелтел, как лежалая свеча, и стал смахивать на воскового Иоанна Крестителя в парике из шелковой бахромы и с облупившейся, несмотря на стеклянный колпак, краской. Крепко сомкнутые веки, стиснутые челюсти, торчащие скулы и заострившийся нос, словно защемленный костлявыми пальцами смерти, делали Матамора похожим на собственный труп.

Багровые пятна и апоплексические прожилки испещряли пьяную образину Педанта; нос его из рубинового стал аметистовым, а толстые губы были покрыты синеватым винным налетом. Капельки пота, стекая по рытвинам и бороздам его лба, задержались в зарослях седоватых бровей; дряблые щеки обвисли. В отупении тяжелого сна лицо актера было отвратительным, меж тем как в бодрствующем состоянии оно привлекало выражением остроты и живости ума; он сидел, привалясь к краю стола и напоминая старого гуляку, козлоногого Сатира, после вакханалии упавшего замертво на краю оврага.

Тиран держался вполне прилично, на его мучнистом лице, обросшем черной щетиной, на лице незлобивого и по-отечески добродушного палача, вообще не могло быть заметных перемен. Субретка тоже довольно сносно выдержала нескромное вторжение дневного света; вид у нее был не очень измученный, разве что более густая синева вокруг глаз да фиолетовые жилки, проступившие на щеках, говорили о дурно проведенной ночи. Сладострастный солнечный луч, проскользнув между пустыми бутылками, недопитыми бокалами и остатками кушаний, ласкал подбородок и губы девушки, точно фавн, который заигрывает с сонной нимфой. Целомудренные вдовицы на стенах пытались покраснеть под желтым слоем лака, глядя, как их уединение оскверняется этим табором бездомных бродяг; и в самом деле, вся пиршественная зала представляла собой омерзительную своей несуразностью картину.

Субретка первая проснулась от поцелуя утреннего солнца; она вскочила, выпрямилась на своих стройных ножках, отряхнула юбки, как птица – перья, пригладила волосы ладонью, чтобы вернуть им глянец, и, увидев, что барон Сигоньяк сидит в кресле и смотрит перед собой недремлющим взором, направилась к нему и сделала реверанс по всем правилам театрального искусства.

– Мне очень жаль, – сказал Сигоньяк, отдавая поклон, – что мое разрушенное жилище, более пригодное для призраков, чем для живых людей, не позволило мне оказать вам лучший прием; я предпочел бы, чтобы вы почивали здесь на простынях голландского полотна, под узорчатым атласным балдахином, а не маялись бы в этом обветшалом кресле.

– Полноте, сударь! – возразила Субретка. – Не будь вас, мы провели бы ночь, дрожа от холода под проливным дождем в повозке, завязшей в грязи, и утром чувствовали бы себя прескверно. Вы с пренебрежением говорите об этом обиталище, на самом же деле оно великолепно по сравнению с теми сараями, которые продувает насквозь и где нам, тиранам и жерт-

вам, принцам и принцессам, Леандрам и Субреткам, нам – комедиантам, кочующим из города в город, – частенько приходится ночевать на охапке соломы.

Пока барон и Субретка обменивались учтивыми заверениями, Педант с громким треском рухнул на пол. Кресло не выдержало наконец такой ноши, подломилось под ним, и толстяк, растянувшись во весь рост, барахтался, как перевернутая на спину черепаха, издавая невнятные возгласы. Падая, он машинально ухватился за край скатерти и потащил за собой посуду, которая каскадом посыпалась на него. От грохота разом проснулись все остальные актеры. Тиран потянулся, протер глаза, а затем подал руку помощи старику и поставил его на ноги.

– С Матамором такой неприятности не могло бы случиться, – произнес Ирод, сопровождая слова утробным рычанием, заменявшим ему смех. – Свалился он в паутину, он и ее бы не прорвал.

– В самом деле, – подтвердил названный актер, расправляя длинные, членистые, словно паучьи, конечности, – не каждому посчастливилось быть Полифемом, Какусом, горой мяса и костей, вроде тебя, или бурдюком со спиртным, бочкой о двух ногах, вроде Блазиуса.

На шум в дверях появились Изабелла, Серафина и Дуэнья. Обе молодые женщины, несколько утомленные и побледневшие, все же были прелестны и при свете дня. Сигоньяку казалось, что ослепительней их никого быть не может, хотя более придирчивый наблюдатель отметил бы некоторые погрешности в их наряде, примятом и поношенном; но что значат вылинявшие ленты, протертые, залоснившиеся ткани, убожество и безвкусица в деталях уборов, если те, кто носит их, молоды и миловидны? К тому же барон, привыкший созерцать только пыльное, выгоревшее, обветшалое старье, не способен был досмотреться до подобных мелочей. На фоне мрачного разрушающегося замка Серафина и Изабелла, на его взгляд, были разряжены как нельзя пышнее, и сами они представлялись ему сказочными видениями.

Что касается дуэньи, то возраст давал ей огромную привилегию – ее уродство было недоступно переменам, ничто не могло нанести ущерб этой физиономии, будто вырезанной из самшита, на которой поблескивали совиные глазки. Она была все та же и при солнце и при свечах.

В этот миг появился Пьер, чтобы привести в порядок комнату, подбросить дров в камин, где несколько головешек белело под пушистым покровом золы, и убрать остатки трапезы, на которые так противно смотреть после того, как голод утолен.

Разгоревшееся пламя лизало чугунную доску с гербом Сигоньяков, непривычную к подобным ласкам, и отбрасывало яркие блики на труппу комедиантов, сбившуюся вокруг очага. Весело пылающий огонь всегда приятен после ночи, проведенной если не совсем без сна, то, во всяком случае, вполпьяна, и под его животворным влиянием полностью улетучились следы усталости на хмурых или помятых лицах. Изабелла протягивала к огню ладони порозовевших от его отблесков ручек и сама, зардевшись от этих румян, утратила недавнюю бледность. Более рослая и крепкая донна Серафина стояла позади нее, точно старшая сестра, которая поспешила усадить не столь выносливую младшую сестренку. Матамор грезил в полусне, словно водяная птица на краю болота, вытянув одну свою журавлиную ногу, поджав другую и уткнувшись клювом в брыжи, вместо зоба. Педант-Блазиус, облизываясь, поднимал на свет одну бутылку за другой, в чаянии найти хоть каплю драгоценной влаги.

Молодой хозяин отозвал Пьера в сторону, желая узнать, нельзя ли раздобыть в деревне на завтрак актерам десяток-другой яиц или же несколько кур, годных для того, чтобы посадить их на вертел, и старый слуга поспешил поскорее исполнить поручение, так как труппа выражала намерение рано тронуться в путь, проделать порядочный перегон и засветло добраться до ночлега.

– Боюсь, что завтрак ваш будет весьма скуден и вам придется удовольствоваться самой умеренной пищей, – сказал Сигоньяк своим гостям, – но лучше позавтракать плохо, чем остаться совсем без завтрака, а на шесть миль в окружности нет ни постоянного двора, ни

кабачка. По виду моего замка вам ясно, что я не богат, но причина моей бедности – затраты предков на войну в защиту наших королей, и мне нечего ее стыдиться.

– Конечно, конечно! – пробасил Ирод. – Ведь многие из тех, что кичатся большим богатством, поостереглись бы указать его источник. Откупщик рядится в парчу, а отпрыски знатных родов ходят в дырявых плащах. Но сквозь эти дыры сверкает доблесть.

– Однако меня немало удивляет, – добавил Блазиус, – что столь благородный дворянин, каким, по-видимому, являетесь вы, сударь, губит свою молодость в безлюдной глуши, куда Фортуна не может проникнуть, как бы она того ни желала. Если бы ей случилось пролетать мимо этого замка, который, должно быть, имел весьма внушительный вид лет двести тому назад, она не задержалась бы в своем полете, сочтя замок необитаемым. Вам, господин барон, следует отправиться в Париж – око и пуп мира, приют умников и храбрецов, Эльдорадо и Ханаан для офранцузенных испанцев и окрещенных евреев, благословенный край, озаренный солнцем королевского двора. Там вы, господин барон, всенепременно были бы отмечены по заслугам и выдвинулись бы, либо состоя в услужении у какого-нибудь высокопоставленного лица, либо отличившись блистательным образом, случай к чему не замедлил бы представиться.

Эти слова, несмотря на их шутовскую высокопарность – невольный отголосок ролей Педанта, – не были лишены смысла. Сигоньяк сознавал их справедливость, он и сам не раз, во время долгих одиноких прогулок по ландам, твердил про себя то же, что Блазиус высказал сейчас вслух.

Но у него не было денег для столь долгого путешествия, и он не знал, как их раздобыть. Будучи храбрым, он вместе с тем был горд и больше страшился насмешки, чем удара шпаги. Не будучи осведомлен в вопросах моды, он понимал, однако, что кажется смешным в своем поношенном платье, успевшем устареть еще в предыдущее царствование. Как все те, кого нужда делает застенчивым, он не признавал своих преимуществ и видел одни лишь дурные стороны своего положения. Если бы он подольстился к старым друзьям отца, ему, по всей вероятности, удалось бы добиться их покровительства, но подобный шаг был противен его природе, и он предпочел бы умереть, сидя на своем ларе подле родового герба и грызя зубочистку, по примеру испанского идалго, чем у кого бы то ни было попросить денег вперед или взаймы. Он принадлежал к числу тех изголодавшихся людей, которые отказываются от превосходного обеда, боясь, как бы радушные хозяева не заподозрили, что дома им нечего есть.

– Я не раз думал об этом, но в Париже у меня нет друзей, а потомки тех, кто знал моих прадедов, когда они были богаты и занимали должности при дворе, не очень-то захотят принять участие в каком-то отощавшем Сигоньяке, который коршуном слетел со своей разрушенной башни, чтобы урвать себе долю в общей добыче. А кроме того, – к чему таиться перед вами? – я лишен возможности появиться в подобающем моему имени виде; да и всех сбережений моих и Пьера, вместе взятых, не хватит на то, чтобы добраться до Парижа.

– Но вам вовсе не требуется въехать туда триумфатором, подобно римскому кесарю, на колеснице, влекомой квадригой белых коней. Если наша скромная повозка, запряженная волами, не оскорбляет достоинства вашей милости, поедemте с нами в столицу, – наша труппа направляется именно туда. Кое-кто из тех, что блистают ныне, пришли в Париж пешком, неся узелок с пожитками на конце шпаги, а башмаки – в руках, чтобы не износились.

Лицо Сигоньяка покрылось краской не то стыда, не то радости. С одной стороны, родовая гордость возмущалась при мысли стать должником жалкого комедианта, с другой же – его чувствительную душу тронуло столь чистосердечное предложение, к тому же отвечавшее заветному желанию молодого барона. Он боялся оскорбить отказом самолюбие актера и самому лишиться случая, который не представится больше никогда. Конечно, путешествие отпрыска Сигоньяков в повозке Феспида вместе с бродячими актерами представляло собой нечто неприличное, отчего впору было заржать геральдическим единорогам и взреветь львам на красном

поле щита; но, в конце концов, молодой барон достаточно напостился за стенами своего феодального замка.

Он колебался, ответить ему «да» или «нет», взвешивая эти два решающих словечка на весах разума, когда к собеседникам с милой улыбкой приблизилась Изабелла и положила конец сомнениям молодого человека следующими словами:

– Наш постоянный поэт, получив наследство, покинул нас, и вы, господин барон, могли бы заменить его, ибо, перелистывая томик Ронсара, лежавший на столе возле кровати, я нечаянно наткнулась на испещренный помарками сонет, вероятно, вашего сочинения; значит, вам не составило бы труда приспособлять для нас роли, делать нужные купюры и добавления и в случае чего написать пьесу на заданную тему. У меня как раз есть на примете итальянский сюжет, где я могла бы получить прелестную роль, если бы кто-нибудь взял на себя обработку.

Произнося эту речь, Изабелла смотрела на Сигоньяка таким нежным и проникновенным взглядом, что тот не мог устоять. Появление Пьера, принесшего огромную яичницу с салом и порядочный ломоть ветчины, прервало эту беседу. Вся труппа расселась за столом и с аппетитом принялась уплетать завтрак. Сигоньяк лишь приличия ради притрагивался к кушаньям, стоявшим перед ним; привыкнув к воздержанию, он был еще сыт вчерашним ужином и, кроме того, поглощен множеством забот.

После завтрака, пока погонщик прикручивал веревки от ярма к рогам волов, Изабелла и Серафина пожелали спуститься в сад, который был виден со двора.

– Боюсь, как бы когти шиповника не вцепились в ваши платья, – заметил Сигоньяк, помогая им сойти по шатким, поросшим мохом ступеням, – ибо справедливо говорится, что нет розы без шипов, зато бывают шипы без роз.

Молодой барон произнес это тоном грустной иронии, который усвоил себе, касаясь в разговоре своей бедности; но обиженный сад словно решил постоять за свою честь, и две дикие розочки, приоткрыв все пять лепестков вокруг желтого пестика, вдруг заалели на вытянутой ветке, преграждавшей путь молодым женщинам. Сигоньяк сорвал их и преподнес Изабелле и Серафине со словами:

– Я не предполагал, что цветники мои столь пышны; в них растут лишь сорные травы и для букетов имеются разве что болиголов да крапива. Вы своими чарами вызвали к жизни эти два цветка, как улыбку на лице отчаяния, как искру поэзии посреди руин.

Изабелла бережно воткнула цветок шиповника за corsage, наградив молодого человека долгим взглядом благодарности, чем показала, какую цену она придает этому скромному подношению. Приблизив цветок к лицу и покусывая его стебель, Серафина как бы хотела подчеркнуть, что бледно-розовые лепестки шиповника не могут соперничать с пурпуром ее губ.

Раздвигая ветви, которые могли хлестнуть посетительниц по лицу, Сигоньяк довел их до статуи мифологической богини, белевшей в конце аллеи. Юная девушка с умиленным вниманием разглядывала запущенный сад, в полной мере созвучный заброшенному замку. Она представляла себе, какие долгие грустные часы отсчитывал Сигоньяк в этом приюте тоски, нищеты и одиночества, прильнув лбом к оконному стеклу, глядя на пустынную дорогу и не зная другого общества, кроме белого пса и черного кота. Более жесткие черты Серафины выражали одно лишь холодное презрение, прикрытое учтивостью; как ни уважала она титулы, этот дворянин был для нее чересчур уж захудалым.

– Здесь кончаются мои владения, – пояснил барон, когда они приблизились к гроту, где плеснела Помона. – Раньше эти холмы и долины, поля и вересковые заросли – во все стороны, куда только достигал взгляд с верхушек обветшавших башенок, – принадлежали моим предкам; ныне же моего достояния хватит лишь на то, чтобы дожидаться часа, когда последний из Сигоньяков упокоится рядом со своими пращурами в фамильном склепе, единственном владении, которое нам останется.

– Надо сознаться, ваши мысли не очень-то жизнерадостны с самого раннего утра! – заметила Изабелла; она была тронута этим признанием, совпадавшим с ее собственными мыслями, но постаралась игривым тоном согнать грусть с чела молодого барона. – Фортуна – женщина, и, хотя ее почитают слепой, все же она, стоя на своем колесе, кое-когда отмечает среди толпы кавалера высокого рождения и высоких достоинств; надо только вовремя попасться ей на глаза. Решайтесь же, поедemте с нами, и, быть может, через несколько лет башни замка Сигоньяк, крытые новой черепицей, подновленные и побеленные, станут в такой же мере величавы, в какой сейчас они жалки. И потом, право же, мне было бы грустно оставить вас в этом совином гнезде, – добавила она вполголоса, чтобы Серафина не могла ее услышать.

Ласковый свет, теплившийся в глазах Изабеллы, победил колебания барона. Ореол любовного приключения оправдывал в его собственных глазах унижительную сторону такого рода путешествия. Ничего недостойного не было в том, чтобы из любви к актрисе последовать за ней и в качестве воздыхателя впрячься в колесницу Комедии; самые изысканные кавалеры не остановились бы перед этим. Колчаноносный божок нередко понуждает богов и героев совершать необычайные поступки и принимать странные обличья: Юпитер обратился в быка, чтобы соблазнить Европу; Геракл прятался у ног Омфалы; непогрешимый Аристотель ползал на четвереньках, нося на спине свою возлюбленную, пожелавшую оседлать философского конька, – забавный вид верховой езды! – хотя такого рода дела противны достоинству божескому и человеческому. Но был ли Сигоньяк влюблен? Он не старался вникнуть в это, однако чувствовал, что отныне несносная тоска будет снедать его здесь, в старом замке, на миг оживленном присутствием юного и миловидного создания.

Итак, решившись без долгих колебаний, он попросил комедиантов подождать его, а сам отвел Пьера в сторону и сообщил ему о своем намерении. Верный слуга, как ни был он удручен предстоящей разлукой с хозяином, понимал, однако, сколь тягостно для того дальнейшее пребывание в жилище Сигоньяков. С горестью наблюдал он, как угасает жизнь юноши в унылом бездействии и тупой тоске, и, хотя труппа фигляров представлялась ему неподобающей свитой для владельца замка Сигоньяк, он все же предпочитал такой способ попытаться счастья той мрачной апатии, в которую, особенно последние два-три года, погружался молодой барон. Пьеру не стоило большого труда собрать скромные пожитки своего господина и вложить в кожаный кошелек горстку пистолетов, рассыпанных по старому ларю, присовокупив к ним, ни слова не говоря, свои убогие сбережения; причем барон, быть может, и не заметил его скромного дара, ибо Пьер совмещал со всеми другими обязанностями в замке также и должность казначея, бывшую поистине синекурой.

Вслед за тем была оседлана белая лошадь, так как Сигоньяк собирался пересечь в повозку комедиантов лишь на расстоянии двух-трех миль от замка, дабы скрыть свой отъезд, сделав вид, будто он только провожает гостей; Пьер должен был следовать за ним пешком и привести лошадь назад, на конюшню.

Волы были уже в упряжке и, несмотря на тяжесть ярма, тилились поднять свои влажные черные морды, с которых серебристыми волокнами свисала слюна; венчавшие их головы, наподобие тиар, красные с желтым плетеные покрывки и защищающие от мух белые холщовые попоны на манер рубашек придавали им сакраментально-торжественный вид. Перед ними погонщик, рослый загорелый варвар, словно пастух римской кампании, стоял, опершись на палку, в позе греческих героев с античных барельефов, о чем, конечно, сам и не подозревал. Изабелла и Серафина уселись спереди, чтобы любоваться красивыми видами, Дуэнья, Педант и Леандр забрались в глубь повозки, предпочитая подремать еще, вместо того чтобы наслаждаться панорамой ландшафта.

Все были в сборе; погонщик хлестнул волов, они опустили головы, уперлись выгнутыми ногами в землю, потом рванули с места; повозка тронулась, доски затрещали, плохо смазанные колеса закрипели, и свод портала гулко отозвался на тяжелый стук копыт. Замок опустел.

Во время приготовлений к отъезду Вельзевул и Миро, понимая, что происходит нечто необычное, с растерянным и озабоченным видом бегали взад-вперед и своим смутным звериным разумением старались понять, откуда в этом пустынном месте взялось столько людей. Пес бестолково метался между Пьером и хозяином, вопрошая их своими синеватыми глазами и рыча на незнакомых. Кот – существо более рассудительное, – с любопытством поводя носом, обнюхивал колесо за колесом, озадаченный размерами волов, разглядывал их на почтительном расстоянии и отскакивал назад, когда те невзначай шевелили рогами. Затем он уселся на задние лапки напротив старой белой лошади, с которой у них было полное взаимное понимание, и, казалось, старался дознаться от нее правды; дряхлая кляча наклонила голову к коту, который задрал к ней мордочку, и, перетирая серыми, поросшими длинной щетиной губами остатки корма, застрявшие у нее между шатких старых зубов, будто в самом деле отвечала другу из кошачьего племени. Что она говорила ему? Один лишь Демокрит, утверждавший, что понимает язык животных, мог бы понять ее; как бы то ни было, но после этой безмолвной беседы, которую он подмигиваниями и мяуканьем передал Миро, коту, очевидно, стал ясен смысл происходящей кутерьмы. Когда барон сел в седло и подобрал поводья, Миро занял место справа, а Вельзевул слева от лошади, и барон де Сигоньяк отбыл из замка своих предков под эскортом пса и кота. Очевидно, осторожный Вельзевул отважился на такой смелый, несвойственный кошачьей породе поступок лишь потому, что угадал, сколь важное решение принято его господином.

В минуту прощания с этой грустной обителью Сигоньяк почувствовал, какой болью сжалось его сердце. Последний раз окинул он взглядом черные от ветхости и зеленые от мха стены, где ему был знаком каждый камень: и башни с ржавыми флюгерами, которые он долгие часы, изнывая от скуки, созерцал тупым и невидящим взглядом; и окна опустошенных комнат, по которым он бродил, точно привидение в заклятом замке, чуть не пугаясь собственных шагов; и запущенный сад, где жабы прыгали по сырой земле и между кустами ежевики шныряли ужи; и часовня с дырявой крышей, где полуразрушенные арки своими обломками засоряют позеленевшие плиты, под которыми бок о бок покоятся его старик отец и мать, чей пленительный образ сохранился в его памяти как смутный сон, мелькнувший на заре младенческих лет. Вспомнились ему и портреты в галерее, которые коротали с ним одиночество и двадцать лет улыбались ему своей застывшей улыбкой; вспомнился охотник за чирками со шпалер спальни, кровать с витыми колонками, где подушка столько раз увлажнялась его слезами, – все эти предметы, ветхие, убогие, унылые, неприветные, пыльные, сонные, внушавшие ему только отвращение и скуку, теперь вдруг обрели обаяние, которого раньше он не ощущал. Он упрекал себя в неблагодарности к жалкому, древнему, полуразвалившемуся дому, который укрывал его, как мог, и при всей своей дряхлости силился устоять, чтобы не задавить его своими руинами, как восьмидесятилетний слуга держится на трясущихся ногах, пока хозяин еще тут; в памяти всплывали мгновения горьких радостей, печальных усад, улыбочивой грусти; привычка, эта неторопливая и бледная спутница жизни, сидя на знакомом пороге, глядела на него глазами скорбной ласки и проникновенно, тихим голосом напевала песенку раннего детства, песенку кормилицы; и, покидая портал, он словно ощутил, как незримая рука схватила его за плащ и потянула назад.

Когда он выехал из ворот впереди повозки, порыв ветра принес свежий запах вереска, омытого дождем, нежный и волнующий аромат родной земли; вдали звонил колокол, и серебряные переливы доносились на крыльях того же ветерка вместе с благоуханием ланд. Это было слишком, и Сигоньяк, охваченный щемящей тоской по родному дому, хотя и находился всего в нескольких шагах от него, дернул повод, и старая кляча тут же послушно повернула вспять, проявив, казалось бы, недоступную для ее возраста живость; Миро и Вельзевул, как по команде, подняли головы, словно угадывая чувства хозяина, остановились и обратили к нему вопрошающий взгляд. Но минута колебания привела к результату, обратному тому, какой

можно было ожидать, ибо, оглянувшись, Сигоньяк встретился глазами с Изабеллой, и взор девушки был исполнен такой томной нежности и явственной мольбы, что барон наш покраснел, побледнел и начисто позабыл и ветхие стены замка, и аромат вереска, и переливы колокола, хотя скорбно-призывный звон его ни на секунду не умолкал; натянув поводья и сжав бока лошади, Сигоньяк помчался вперед. Борьба была окончена: Изабелла победила.

Повозка направилась в сторону дороги, о которой была речь на первой странице этой книги, изгоняя перепуганных лягушек из выбоин, полных воды. Когда она выехала на дорогу и волам стало легче тащить по утоптанной почве тяжелую колымагу, в которую они были впряжены, Сигоньяк из авангарда перебрался в арьергард, не желая проявлять чересчур откровенное внимание к Изабелле, а, возможно, также ища уединения, чтобы всецело отдаться думам, тревожившим его душу.

Островежные башни замка Сигоньяк наполовину скрылись уже за купами деревьев; барон поднялся на стременах, чтобы увидеть их еще раз, и, опустив взгляд, заметил Миро и Вельзевула и прочел на их жалостных физиономиях всю ту боль, какую только способно выразить животное. Воспользовавшись задержкой, вызванной созерцанием башен, Миро напряг свои дряблые старческие мышцы, чтобы подпрыгнуть как можно выше и в последний раз лизнуть лицо хозяина. Сигоньяк понял намерения бедного пса, подхватил его на уровне стремени за обвисшую кожу загривка, поднял на седло и поцеловал в черный шершавый нос, не уклоняясь от влажной ласки животного, в знак благодарности облизовавшего ему усы. Тем временем более проворный Вельзевул при помощи своих цепких когтей взобрался с другой стороны по сапогам и ляжкам Сигоньяка, высунул у самой луки свою черную мордочку и, вращая большими желтыми глазами, оглушительным мяуканьем тоже молил о последнем привете. Молодой барон несколько раз провел рукой по безухой голове кота, а тот тянулся и выгибался, чтобы лучше ощутить дружеское почесывание. Мы не боимся вызвать насмешку над нашим героем, сказав, что смиренные проявления преданности этих двух тварей, лишенных души, но не чувства, несказанно умилили его, и две слезы, поднявшиеся с рыданием из глубины сердца, упали на головы Миро и Вельзевула и нарекли их друзьями хозяина в человеческом смысле этого слова.

Оба животных некоторое время смотрели вслед Сигоньяку, который пустил лошадь рысью, чтобы нагнать повозку, а когда он исчез из виду за поворотом дороги, в братском согласии отправились обратно, к замку.

Ночная гроза не оставила на песчаной почве ланд тех следов, какие оставляют проливные дожди на менее сухих землях; природа только освежилась и заблестела своеобразной суровой красотой. Лиловые цветочки вереска, омытые небесной влагой, устилали склоны холмов; наново зазеленевший дрок кивал золотыми цветами; водяные растения раскинулись по вновь напитавшимся влагой болотам; сосны и те менее мрачно покачивали темными ветвями и распространяли запах смолы; голубоватые столбики дыма подымались тут и там из купы каштанов, выдавая крестьянское жилье, а в извилах долины, расстилавшейся без конца и без края, точно светлые пятна, мелькали овцы под охраной пастуха, дремавшего на ходулях. На краю горизонта, точно архипелаг белых облаков, оттененных лазурью, выступали далекие вершины Пиренеев, полустертые легким туманом осеннего утра.

Кое-где дорога пролегла между двумя кручами, размытые склоны которых белели измельченным в порошок песчаником, а на гребнях буйными космами вились заросли кустов, и переплетенные побеги хлестали по холщовому верху повозки. Местами почва была такой рыхлой, что ее пришлось укрепить стволами елей, брошенных поперек дороги, отчего повозку порядком потряхивало, и дамы взвизгивали от страха. А иногда случалось проезжать по шатким мостикам через лужи и ручейки, попадавшие на пути. Во всех опасных местах Сигоньяк помогал сойти с повозки Изабелле, более робкой или менее ленивой, чем Серафина и Дуэнья. Тиран и Блазиус, выдавшие всякие виды, безмятежно спали, как бы их ни швыряло между баулами. Матамор маршировал рядом с повозкой, чтобы с помощью моциона сохранить

свою неправдоподобную худобу, о которой он постоянно радел; и, видя издалека, как он подымает свои длиннющие ноги, его всякий бы принял за паука-сенокосца посреди хлебного поля. Он делал такие огромные шаги, что поминутно вынужден был останавливаться и дожидаться остальных актеров; приучившись по своим ролям лихо выступать боком и расставлять ноги циркулем, он и в жизни изображал на ходу геометрическую фигуру.

Запряженные волами повозки катятся не спеша, особливо в ландах, где песок порой доходит до ступицы, а дороги отличаются от прочей земли лишь колеями в два-три фута глубиной; и хотя терпеливые животные, пригнув жилистые выи, отважно продвигались вперед, подстрекаемые бодилом погонщика, солнце стояло уже высоко, а путешественники проехали всего две мили, правда, местных мили, долгих, как день без дела, и подобных тем милям, коими спустя две недели услад отметили свои любовные доблести те четы, что были отряжены Пантагрюэлем ставить придорожные камни в его прекрасном королевстве Мирбале.

Крестьяне, пересекавшие дорогу, кто с охапкой травы, кто с вязанкой хвороста, попадались все реже, и ланды раскинулись теперь в своей пустынной нагоде, столь же дикой, как испанские деспобладос или американские пампасы.

Сочтя бесцельным утомлять и далее своего жалкого дряхлого скакуна, Сигоньяк спрыгнул на землю и бросил поводья слуге, на бронзовом лице которого сквозь многолетний загар проступила бледность, вызванная душевным волнением. Настала минута прощания хозяина и слуги, минута тягостная потому, что Пьер знал Сигоньяка со дня его рождения и был ему скорее смиренным другом, нежели прислужником.

– Да хранит Господь вашу милость, – произнес Пьер, склоняясь над протянутой рукой барона, – и да поможет он вам возвратить благосостояние Сигоньяков. Как жаль, что мне не дозволено сопровождать вас.

– Куда бы я девался с тобой, мой бедный Пьер, в той неведомой жизни, в какую вступаю отныне? На столь скудные средства вряд ли возможно прокормиться нам двоим. В замке ты уж кое-как проживешь: наши прежние арендаторы не дадут умереть с голоду верному слуге их господина. Кроме того, не следует бросать замок Сигоньяк на произвол судьбы, чтобы им завладели стервятники и гады, как развалинами, где царит смерть и бродят привидения; душа этого старинного обиталища еще жива во мне, и доколе жив я, у порога его должен стоять страж, который не позволит озорникам камнями метить из пращей в его герб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.